

ОРБИТЫ ТИШИНЫ

роман



39NKSU 39NKSU

ОРБИТЫ ТИШИНЫ

<https://litres.ru/73989759>

SelfPub; 2026

Аннотация

После аварии на старой орбитальной сети инженер Илья Ковалев остается формально невиновным — и человечески не оправданным. Его решение соответствовало инструкции, но именно после него погибла Аня, женщина, которую он любил.

Спустя годы в архивных данных всплывают фрагменты сигнала, которого не должно было сохраниться. Голос Ани возвращается через шум, поврежденные записи и машинные реконструкции, заставляя Илью снова пройти маршрут той ночи: от служебных протоколов до личной вины, от технической правды до той, которую невозможно закрыть справкой.

«Орбиты тишины» — роман о памяти, ответственности и поздних сигналах; о системах, которые умеют фиксировать события, но не умеют отвечать за боль.

39NKSY

ОРБИТЫ ТИШИНЫ

ОРБИТЫ ТИШИНЫ

роман

Предисловие редактора

Я долго не хотел открывать этот текст.

Не потому, что не знал, о чем он. Напротив – потому что слишком хорошо знал. В некоторых семьях прошлое хранится в альбомах, письмах, фотографиях с выцветшими углами. В нашей оно хранилось иначе: в ящике под старым радиоприемником, в папках без подписей, в словах, которые взрослые произносили чуть тише обычного, в датах, после которых отец становился особенно внимателен к пустякам. Он мог в такой день проверить замок дважды, разобрать до винта давно исправный чайник, часами сидеть над схемой, которую никто не просил его смотреть. А если я спрашивал, что случилось, он отвечал: «Ничего». И я довольно рано понял, что в нашем доме «ничего» редко означает пустоту.

Меня зовут Николай Ильич Ковалев. Я сын Ильи Ковалева. Эту фразу я писал много раз и каждый раз стирал. Она звучит слишком просто для того, что за ней стоит. Сын – это не должность и не право собственности на чужую историю. Сын – это человек, который долго живет внутри по-

следствий, не зная их точного происхождения. В детстве я знал отца не как героя этой рукописи, не как фигуранта старого расследования, не как инженера, чье имя однажды оказалось вписано в чужую смерть, а как человека, который возвращался домой поздно, ставил ключи всегда в одно и то же место, не любил внезапных звонков и мог посреди ночи проснуться от звука, который все остальные не слышали.

Отец был не таким, каким его обычно пытаются представить люди, узнавшие только один главный факт его жизни. Он не был постоянно мрачным. Не ходил по квартире с лицом человека, несущего историческую вину. Он умел смеяться, хотя часто делал это так, будто смех был служебной функцией, которую он не до конца одобряет. Он мог часами чинить вещь, которую проще было выбросить. Он не любил пафоса, но был почти суеверно бережен к обещаниям. Если говорил «попробую», это значило больше, чем чужое «обязательно». Если говорил «посмотрим», это обычно значило, что он уже боится не выполнить.

В детстве я сердился на него именно за это «посмотрим». Мне хотелось прямых ответов. Пойдем? Приедешь? Получится? Можно? Он редко отвечал сразу. Сначала смотрел в календарь, в расписание, в погоду, в свои внутренние таблицы риска. Тогда я не понимал, что передо мной не осторожность взрослого человека, а след. Потом понял – и все равно иногда сердился. Понимание не отменяет обиды. Оно только делает ее менее удобной.

Текст, который следует дальше, для меня не является внешним рассказом. В нем слишком много того, что я узнаю телом раньше, чем памятью: гул вентиляции, железнодорожный круг за окнами, разобранный радиоприемник, отцовская привычка говорить о чувствах через технические слова, его странное умение присутствовать рядом и одновременно уходить куда-то внутрь, туда, где до него нельзя было дозвониться. Я вырос не в тени одной трагедии, как иногда говорят о таких семьях. Тень – слишком неподвижный образ. Скорее, я вырос рядом с системой, которая продолжала работать после аварии, выдавая остаточные сигналы в самые неподходящие моменты.

Некоторые вещи я узнал рано. Что была Аня. Что она погибла. Что отец был связан с той ночью. Что официально все было сложнее, чем говорят в коридорах. Что «сложнее» не значит «легче». Другие вещи я узнал гораздо позже, когда уже мог читать документы, отличать протокол от объяснительной, понимать, почему человек может ненавидеть фразу именно за то, что она точна. Справка, где действия отца были признаны формально соответствовавшими инструкции, долго казалась мне чем-то вроде оправдания. Потом я увидел, как он смотрит на такие формулировки, и понял: некоторые оправдания устроены как приговоры. Они не освобождают. Они оставляют человеку место, где можно спрятаться, и потом всю жизнь спрашивают, почему он спрятался.

Когда материалы начали складываться в единую руко-

пись, я сопротивлялся почти каждому решению. Сначала хотел убрать личное. Потом – наоборот, оставить только личное и выкинуть сухие куски, эти журналы, акты, временные отметки, строки, где человеческая смерть проходит через язык системного события. Потом понял, что ни то ни другое невозможно. В этой истории личное и техническое не разделяются. Люди здесь не страдают отдельно от контуров, не любят отдельно от сменных графиков, не ошибаются отдельно от регламентов. Их слова проходят через каналы. Их решения фиксируются командами. Их молчание иногда становится записью в журнале. И если убрать технику, останется красивая ложь о чувствах. Если убрать чувства, останется служебная ложь о причинах.

Я не исправлял отца там, где мне хотелось его защитить. Это, пожалуй, было самым трудным. Сын всегда немного адвокат, даже когда пытается быть судьей. Я видел места, где его можно было представить мягче. Где можно было добавить объяснение, усилить усталость, подчеркнуть давление обстоятельств, показать, что никто не принимает решений в пустоте. Все это правда. Но рядом с этой правдой стоит другая: он видел подпись и не позвонил. Рукопись не имеет права забывать ни одну из этих строк. Я тоже не имею.

Я не знал Аню Синицыну. Это простое обстоятельство до сих пор кажется мне странным, потому что ее присутствие было частью моей жизни задолго до того, как я узнал ее лицо на фотографии. О ней не говорили часто, но ее отсутствие

было устойчивее многих присутствий. Отец не хранил ее как святыню, не устраивал вокруг ее имени семейного культа. Скорее, он избегал всего, что могло превратить живого человека в символ. И все же некоторые вещи выдавали его. Чашка с отколотой ручкой, которую он не выбрасывал. Старая синяя рубашка, убранная глубже обычных вещей. Резкая перемена в лице, когда по радио случайно звучал женский голос с похожей хрипотцой. Его особая злость на фразы вроде «оно же раньше работало».

Когда я читал страницы об Ане, мне было важно не позволить себе полюбить ее задним числом слишком удобно. Мертвых легко делать безупречными, особенно если они стали центром чужой вины. Но в оставшихся записях, в рассказах, в рабочих пометках, в том, как отец вспоминал ее даже тогда, когда не называл имени, она была другой: умной, резкой, смешной, иногда несправедливой, очень живой. Она не была противоположностью системе. Она была человеком, который понимал системы слишком хорошо, чтобы доверять их красивой устойчивости. Это важнее любого посмертного идеала.

В этих материалах много тишины. Не литературной тишины, не красивой паузы перед важной фразой, а той, которая возникает после неотвеченного звонка, после неподписанной строки, после закрытого документа, после вопроса, на который человек отвечает слишком поздно или не отвечает совсем. Я с детства знал разные виды отцовского молча-

ния. Было молчание усталости. Молчание сосредоточенности. Молчание раздражения. И было особое молчание, в котором он будто слушал не нас, а что-то внутри себя, старый канал, который давно должен был быть отключен, но продолжал шипеть на фоне. Именно это молчание, как мне кажется, и стало настоящим материалом книги.

Некоторые читатели, возможно, будут искать в этих страницах виновного. Это естественное желание. Виновный упрощает устройство боли. Если можно поставить одну фамилию в конец причинной цепочки, мир снова становится пригодным для объяснения. Но я прошу не торопиться. Не потому, что виновных нет. Вина здесь есть, и ее больше, чем удобно признать. Просто она не помещается в одну фигуру. Она распределена между решением, инструкцией, задержкой, недоставленным сигналом, старым шкафом, закрытым отчетом, человеческой усталостью, должностной осторожностью, страхом перед последствиями и тем самым желанием поскорее назвать сложное понятным.

Отец однажды сказал мне, уже незадолго до конца, что самая опасная форма лжи – это неполная правда, произнесенная вовремя. Тогда я не понял, почему именно вовремя. Позже понял: потому что вовремя сказанная неполная правда успевает стать официальной раньше, чем рядом с ней появится все остальное. Она входит в документы, в память, в привычку, в семейные разговоры. Ее начинают цитировать даже те, кто от нее пострадал. А когда спустя годы находят-

ся новые строки, новые свидетельства, новые пропущенные сигналы, оказывается, что бороться приходится уже не с ложью. Ложь можно разоблачить. Неполную правду приходится расширять, а это гораздо большее.

При подготовке текста я не стремился сгладить шероховатости. В записях отца были повторы. Он снова и снова возвращался к одним и тем же словам: коридор, подтверждение, тишина, доставка, формально, достаточно. Вначале мне казалось, что это надо чистить. Потом я понял, что повторы здесь не слабость памяти, а ее орбита. Человек, переживший один неразрешенный момент, не движется от него по прямой. Он возвращается. Иногда ближе, иногда дальше, иногда почти забывает, иногда снова оказывается в той же точке. Поэтому часть повторов я оставил. Не из уважения к черновику, а из уважения к тому, как на самом деле работает незавершенное.

Я также оставил сухие формулировки там, где просилась эмоциональная замена. Мне хотелось написать «она пыталась спасти людей», но в документе стояло «отправлен диагностический пакет». Хотелось написать «он испугался», но в записи было «принято решение продолжить наблюдение». Хотелось написать «они не услышали», но журнал говорил «подтверждение доставки отсутствует». И все же за этими сухими фразами иногда больше ужаса, чем в прямом признании. Потому что так и выглядит жизнь в системах: самое важное проходит через поля, где нет места для слова

«страх».

Я не могу утверждать, что восстановил все. Более того, теперь я не верю в само слово «все» применительно к прошлому. Любая восстановленная история остается частичной. В ней есть документы, которым нельзя доверять полностью. Есть память, которая достраивает. Есть люди, которые защищают себя даже тогда, когда хотят быть честными. Есть мертвые, за которых говорят живые, и это всегда опасно. Есть технические следы, которые кажутся беспристрастными, но тоже зависят от того, кто и когда их прочитал. Эта рукопись не отменяет неполноты. Она честно живет внутри нее.

И все же я верю, что она необходима.

Не для того, чтобы оправдать отца. Не для того, чтобы обвинить тех, кто оказался рядом с ним в одной причинной цепочке. Не для того, чтобы вернуть Ане голос в красивом, невозможном смысле. А для того, чтобы поздний сигнал наконец не был снова назван шумом. В нашей семье, как и в той системе, о которой дальше пойдет речь, слишком многое слишком долго существовало в режиме отложенной доставки. Какие-то слова должны были дойти не потому, что они все исправят, а потому, что без них исправление даже нельзя начать воображать.

Я знаю, что для некоторых эта история останется историей моего отца. Для других – историей Ани. Для третьих – историей старой аварии, старого аппарата, старой сети, которую не списали вовремя. Для меня она прежде всего исто-

рия о том, как трудно бывает услышать то, что уже прозвучало. О том, что сигнал может прийти вовремя и все равно не быть принятым. О том, что человек может прожить много лет, отвечая не на тот вопрос. О том, что иногда возвращение прошлого не приносит облегчения, потому что прошлое возвращается не для утешения, а для уточнения.

Когда я закончил последнюю редактуру, я долго сидел с распечаткой перед собой и думал, что отец, вероятно, нашел бы в ней неточности. Он обязательно поправил бы техническую формулировку, усомнился бы в порядке сцен, сказал бы, что какая-нибудь фраза слишком уверенная, а где-то не хватает пометки «возможно». Потом, наверное, отложил бы листы, прошел на кухню, поставил чайник и не сказал бы ничего. Через час вернулся бы и спросил, где я взял одну из старых записей. Не потому, что запрещал. Потому что ему было бы важно понять маршрут.

Маршрут здесь действительно важен.

Эта рукопись шла долго. Через архивы, чужие руки, поврежденные файлы, разговоры, которые никто не хотел начинать, и документы, которые слишком долго считались закрытыми. Она дошла неполной. Но, возможно, полной она и не могла быть. Важно другое: она дошла достаточно, чтобы ее нельзя было больше не читать.

Если вы открываете эту книгу, не ищите в ней последнего слова. Последние слова редко бывают честными. Ищите связи. Пропуски. Несовпадения. Места, где человек отвечает не

на тот вопрос. Места, где система говорит слишком ровно. Места, где тишина оказывается не пустотой, а задержкой.

И помните: не всякий сигнал, пришедший поздно, приходит зря.

Пролог. Дежурство

В ту ночь, когда погибла Аня, над городом стоял такой низкий снег, будто кто-то неумело стирал с неба старую записку. Снег не падал, а висел; фонари подсвечивали его снизу, и улицы казались шахтами, уходящими не в землю, а вверх. Илья тогда сидел в сменной комнате на сорок втором этаже Центра орбитальной связи, ел холодную гречку из контейнера и слушал, как в аппаратной за стеной работают вентиляторы.

На экране перед ним мерцала схема ретрансляционной дуги «Веста»: шесть старых аппаратов, выведенных еще в те годы, когда инженеры верили в долговечность металла больше, чем в долговечность людей. Их давно должны были заменить, но в стране редко что умирало вовремя. Узлы списывали, перепрошивали, переводили на вторичные контуры, снова возвращали в работу, когда новые системы задерживались или не сходились бюджеты.

Аня в ту ночь была на наземной станции «Берег-7», далеко за Волгой. Она приехала туда на две недели – принять

новый блок фазовой коррекции. Перед отъездом они поссорились так буднично, что потом Илья годами не мог простить себе именно будничности. Не хлопали двери, не звучали страшные слова. Она спросила, заберет ли он ее с вокзала в пятницу. Он сказал: «Посмотрим по сменам». Она промолчала и стала застегивать сумку. Он, вместо того чтобы подойти, проверил почту.

В 02:13 по московскому времени узел «Веста-4» дал дрожание по частоте. Система подсветила сектор желтым, затем оранжевым. Илья открыл протокол: допустимое отклонение, резервный режим, наблюдение. Через две минуты станция «Берег-7» запросила ручное подтверждение на остановку теста. Запрос пришел с подписью А. Л. Синицына.

Илья посмотрел на окно риска: остановка теста могла уронить три гражданских канала, один медицинский поток и связь с северной трассой. По инструкции он имел право не останавливать. По совести – должен был позвонить. Он не позвонил. Он нажал «продолжить наблюдение» и вписал в поле комментария: «Параметры в пределах расчетного коридора».

В 02:19 коридор перестал существовать. На схеме одна линия вспыхнула белым. Потом пропала. Потом пропали еще две. В сменной комнате погасла лампа, тут же загорелась аварийная. Илья встал, ударившись коленом о стол. В аппаратной кто-то выругался. На общем канале раздались голоса, все сразу: диспетчеры, дежурные, начальник смены, женщи-

на с «Берега», которой Илья не знал.

Аниного голоса среди них не было.

Позже, в отчетах, писали: «каскадная расфазировка», «локальный пожар», «ошибка в расчетах нагрузки», «неполнота регламента». Илья подписал три объяснительные и одну закрытую справку. В справке стояло, что его действия соответствовали инструкции. Он читал эту фразу так часто, что выучил форму букв.

Через десять лет ему казалось, что все началось не с аварии, а с тишины после нее. Потому что тишина оказалась не пустой. В ней что-то шевелилось, возвращалось, искало дорогу через холодные орбиты и обгоревшие реле.

Пророчество

Задолго до аварии был очередной день, в который ничего не должно было происходить.

Тогда смена закончилась раньше обычного – не из-за аварий или сбоев, а наоборот, из-за их отсутствия. Все шло по расчету, ровно и предсказуемо, как любят инженеры и ненавидят люди, которым после этого нечего обсуждать.

Они вышли почти одновременно.

Илья – из аппаратной, где свет всегда казался чуть холоднее, чем должен быть. Аня – из соседнего блока, на ходу закрывая что-то в планшете и не поднимая взгляда.

– У вас сегодня все стабильно? – спросила она, не глядя на него.

– У нас всегда стабильно, – ответил он.

Она хмыкнула.

– Значит, вы просто не все видите.

Они вышли на улицу, и разговор должен был закончиться там же, где обычно – на уровне короткого обмена фразами, после которого каждый идет в свою сторону.

Но они не разошлись.

Не сразу.

Илья не помнил, кто из них первым остановился. Возможно, никто – просто шаг стал медленнее, и пауза между фразами оказалась чуть длиннее, чем нужно для прощания.

– Ты домой? – спросила она.

– Да.

Она кивнула, но не ушла.

– Я тоже.

Это ничего не значило. Но они пошли вместе. Сначала – молча. Потом – обсуждая работу, как обычно. Потом – уже не только работу.

Город вечером был мягче, чем днем. Звуки не исчезали, но переставали давить. Свет витрин ложился на асфальт неравномерно, и в этих пятнах было что-то успокаивающее, как будто пространство само подстраивалось под шаг.

– Ты всегда так отвечаешь? – вдруг спросила она.

– Как?

– «У нас все стабильно».

– Потому что обычно так и есть.

– Или потому что так проще?

Он не сразу понял, что ответить.

– Это одно и то же, – сказал он наконец.

Она посмотрела на него внимательнее, чем раньше.

– Нет, – сказала она. – Это не одно и то же.

Они свернули в сторону, где Илья обычно не ходил. Там было больше людей, больше света, больше случайных шумов. Он не любил такие места – они казались ему неуправляемыми.

Аня, наоборот, шла так, будто знала, куда идет.

– Ты здесь бываешь? – спросил он.

– Иногда.

– Зачем?

Она пожала плечами.

– Чтобы проверить, что все не развалилось.

Он хотел уточнить, что именно «все», но не стал.

Они зашли в небольшое кафе, которое не выглядело ни уютным, ни модным – просто место, где можно было сесть. Заказали что-то почти наугад и долго не начинали разговор.

Потом разговор начался сам.

Они говорили о вещах, которые обычно не обсуждали: не о системах, а о том, что происходит вокруг них; не о расчетах, а о том, что нельзя посчитать.

Илья заметил, что ему не нужно подбирать слова. Это было странно.

Аня, наоборот, иногда замолкала, как будто проверяла,

стоит ли продолжать.

– Ты когда-нибудь думал уйти? – спросила она.

– Куда?

– Отсюда.

Он посмотрел на нее.

– Зачем?

Она улыбнулась, но без веселья.

– Вот именно.

После кафе они не разошлись.

Просто вышли и пошли дальше.

Был парк, в котором почти не было людей. Потом набережная, где ветер делал разговор прерывистым. Потом какие-то узкие улицы, по которым они шли, не запоминая поворотов.

В какой-то момент они остановились у книжного магазина.

Он был уже закрыт, но витрина оставалась освещенной. Книги стояли в беспорядке, как будто их расставляли не по системе, а по настроению.

– Ты веришь в такие вещи? – спросила Аня, кивнув на книги.

– В какие?

– В то, что в них можно что-то найти.

– Там есть информация.

– Я не об этом.

Он посмотрел на нее.

Она открыла дверь. Оказалось, что магазин не закрыт – просто пуст.

Внутри было тихо.

Слишком тихо для места, где должно быть много слов.

Они прошли между полками, не выбирая направления. Остановились у стола, на котором лежали книги без видимой системы.

Аня взяла одну.

– Давай погадаем, – сказала она.

– Это не работает.

– Конечно не работает.

Она протянула ему книгу.

– Тогда тем более.

Он не стал спорить.

Она закрыла глаза, провела пальцем по краю страниц и остановилась.

– Сначала ты, – сказала она.

Он открыл книгу на случайной странице.

Читал молча.

Текст был странным – не потому, что в нем было что-то особенное, а потому, что он не складывался в смысл сразу.

Потом он понял.

Там было написано:

«Скоро все будет хорошо».

Он посмотрел на нее.

– Ну?

– Ничего, – сказал он. – Все будет хорошо.

Она засмеялась.

– Отлично. Очень удобно.

– А у тебя?

Она повторила то же самое: закрыла глаза, открыла книгу.

Читала дольше.

Потом перестала улыбаться.

– Что?

Она не ответила сразу.

Потом прочитала вслух:

– «Ты стоишь не там, где должна. Все, что удерживает тебя здесь, – не твое. Уходи, пока это не стало единственным выбором».

Илья нахмурился.

– Это просто текст.

– Да.

– Он ничего не значит.

– Конечно.

Она закрыла книгу.

Положила ее обратно.

– Ты же не собираешься... – начал он.

– Что?

– Принимать это всерьез.

Она посмотрела на него спокойно.

– А ты собираешься принимать свое всерьез?

Он не ответил.

Они вышли из магазина.

Снаружи стало холоднее.

Или просто время прошло.

Они шли молча.

Не потому что нечего было сказать, а потому что слова больше не были нужны.

Илья думал о фразе.

Не о ее смысле – о форме.

«Скоро все будет хорошо».

Слишком просто.

Слишком законченно.

Как будто в ней уже не осталось места для выбора.

Он хотел сказать что-то – опровергнуть, уточнить, вернуть разговор в привычные рамки.

Но не сказал.

Аня шла рядом, чуть впереди.

Он не знал, о чем она думает.

И не спросил.

Они дошли до перекрестка, где обычно расходились.

Остановились.

– Тогда до завтра? – сказал он.

Она посмотрела на него.

– Да, – сказала она. – До завтра.

Они разошлись.

Он не обернулся. Хотя хотел.

Она, возможно, тоже.

Когда системы сходятся

После того вечера они не стали ближе сразу.

Илья потом часто думал, что близость должна иметь какое-то событие в начале: признание, случайное касание, резкий разговор, ночь, после которой все уже невозможно вернуть в прежнее состояние. Но у них все началось иначе – почти незаметно, как начинается сдвиг частоты, когда прибор еще показывает норму, а опытный человек уже слышит, что звук стал другим.

На следующий день Аня пришла на смену раньше обычного.

Илья увидел ее в коридоре между аппаратной и комнатой контроля. Она стояла у автомата с кофе, держала пластиковый стаканчик обеими руками и смотрела не на экран автомата, а куда-то сквозь него. На ней был серый свитер с растянутыми манжетами, волосы убраны небрежно, как будто она собиралась сделать это аккуратно, но по дороге передумала.

Он хотел пройти мимо.

Это было бы проще. Они вчера разошлись на перекрестке, и между ними осталось слишком много неоформленного: закрытый книжный магазин, который оказался открытым; случайные строки; ее молчание после фразы про уход; его собственное желание обернуться, которое он так и не выполнил.

Илья не любил незавершенные состояния. В работе их нужно было закрывать: подтвердить, сбросить, перенести,

пометить как ошибку, поставить на наблюдение. В жизни он обычно делал то же самое, только другими словами.

Аня подняла взгляд первой.

– У вас сегодня все стабильно? – спросила она.

Он остановился.

– Ты уже спрашивала.

– Я проверяю повторяемость результата.

– Повторяемость подтверждаю.

Она кивнула, будто приняла отчет.

– Значит, вчерашний сбой был не в системе.

Он не сразу понял, улыбается она или нет. С Аней это бывало трудно: выражение лица у нее часто оставалось спокойным, а смысл менялся где-то глубже, в интонации, в паузе перед словом, в легком наклоне головы. Илья ловил себя на том, что пытается вычислить это как параметр, хотя понимал: именно так все и портишь.

– Ты про книгу? – спросил он.

– Я про нас.

Слово прозвучало неожиданно просто. Не как признание, не как предложение, даже не как вопрос. Как техническое обозначение связки, которую теперь почему-то нельзя игнорировать.

Илья посмотрел на свой пропуск, на холодный свет коридора, на полоску пыли у стены. Все вокруг оставалось прежним. Только в этом прежнем появилось новое слово.

– Нас еще нет, – сказал он.

Аня отпила кофе, поморщилась.

– Ужасный.

– Я предупреждал бы, если бы знал, что ты его пьешь.

– Вот видишь. Уже есть практическая польза.

Она выбросила стаканчик почти полный и пошла в сторону аппаратной. Илья пошел рядом. Они не договаривались об этом. Просто направление совпало, а потом оказалось, что совпадение можно не исправлять.

В тот день они почти не разговаривали. Работа шла плотно: плановое переключение резервного канала, проверка задержек, обновление таблиц нагрузки. Аня была в соседнем блоке, и несколько раз ее голос проходил через служебную линию – сухой, собранный, чуть резкий.

– Центр, подтвердите фазу по пятому.

Илья отвечал:

– Подтверждаю. Отклонение в пределах.

– В пределах – это не значит хорошо.

– В пределах – это значит допустимо.

– Вот поэтому вас нельзя оставлять без присмотра.

Оператор рядом с Ильей усмехнулся. Илья сделал вид, что не слышал.

К вечеру они вышли вместе снова. Теперь уже без случайности. Просто оба задержались у дверей, оба проверили телефоны, оба ничего важного там не нашли.

На улице было сухо и холодно. Ноябрьский воздух еще не стал зимним, но уже умел напоминать о ней. Люди шли

быстрее, чем днем, словно город подгонял их к домам. Витрины отражались в мокром асфальте, и в этих отражениях все выглядело чуть красивее, чем было на самом деле.

– Ты вчера не обернулся, – сказала Аня.

Илья сбился с шага.

– Ты видела?

– Нет.

– Тогда откуда знаешь?

– Потому что я тоже не обернулась.

Он хотел сказать, что это не доказательство. Что из двух одинаковых действий не следует одинаковая причина. Что люди могут не оборачиваться по множеству причин: усталость, гордость, неловкость, боязнь выглядеть смешно.

Он ничего этого не сказал.

– А хотела? – спросил он.

– Да.

Они дошли до светофора. Красный свет долго держал их на краю тротуара. Машины проходили перед ними ровным потоком, фары скользили по лицу Ани и исчезали.

– Я тоже, – сказал Илья.

Она не посмотрела на него сразу. Только когда загорелся зеленый, сказала:

– Ничего. Для первого раза достаточно.

С этого началась их странная привычка идти вместе после смены.

Они редко планировали это заранее. Иногда Аня писала:

«Ты сегодня уходишь или ночуешь в шкафу с оборудованием?» Иногда Илья находил у себя на столе бумажку с нарисованным кривым спутником и подписью: «Объект требует выгула». Иногда они просто встречались у выхода и шли молча, как будто так было всегда.

Илья узнавал город заново.

До Ани он пользовался им, как пользуются схемой: дом, работа, магазин, метро, редкие маршруты по необходимости. Улицы существовали для перемещения. Кафе – для еды. Парки – для того, чтобы их обходить, если они не по пути.

Аня обращалась с городом иначе. Она сворачивала без предупреждения, останавливалась у витрин, читала объявления на столбах, замечала людей, собак, свет в окнах, трещины на фасадах. Она могла десять минут рассматривать старую вывеску ремонтной мастерской, потому что «буквы держатся честнее, чем половина современных конструкций». Могла купить горячие каштаны, обжечь пальцы и рассердиться на каштаны так, будто они нарушили договор.

– Ты все время смотришь, как будто проверяешь устойчивость мира, – сказал однажды Илья.

– А ты нет?

– Нет.

– Поэтому у тебя половина мира проходит без приемки.

Она говорила легко, но за этой легкостью часто стояло что-то острое. Илья не сразу научился понимать, когда она шутит, а когда прячет важное под шуткой. Иногда он про-

пускал. Иногда замечал слишком поздно.

Однажды они зашли в старый двор, где между домами росла огромная липа. Дерево было черным от дождя, листья почти облетели, на ветках висели мокрые пакеты и чьи-то забытые ленточки. Аня остановилась под ним и сказала:

– Здесь я когда-то потерялась.

– В этом дворе?

– Нет. Вообще.

– Это не ответ.

– Это лучший ответ.

Она села на низкий бетонный бордюр. Илья остался стоять.

– Я в детстве часто думала, что взрослые знают, куда идут, – сказала она. – Потом выросла и поняла, что они просто идут быстрее, чтобы никто не заметил.

– Не все.

– Ты, например?

– Я обычно знаю маршрут.

– Маршрут – не то же самое, что направление.

Он уже слышал от нее похожую фразу: стабильность и простота, информация и смысл, допустимое и правильное. Аня все время разделяла то, что он привык соединять. Иногда это раздражало. Иногда – пугало. Чаще всего – заставляло думать.

– А ты знаешь направление? – спросил он.

Она посмотрела вверх, на мокрые ветви.

– Нет. Но я хотя бы не делаю вид, что карта является местностью.

Он сел рядом. Бордюр был холодный.

– Ты всегда так говоришь?

– Как?

– Будто споришь с кем-то, кого здесь нет.

Аня улыбнулась, но не сразу.

– Может, так и есть.

– С кем?

Она провела пальцем по трещине в бетоне.

– С теми, кто считает, что если вещь работает, значит, все в порядке.

Илья хотел ответить, что работающая вещь – это уже немало. Что мир держится на людях, которые чинят, считают, проверяют, соблюдают инструкции, закрывают окна рисков до того, как кому-то придет в голову рассуждать о смысле. Но он уже понимал: спор будет не об этом.

– Ты не любишь системы, – сказал он.

– Люблю.

– Не похоже.

– Я не люблю, когда ими прикрываются.

Эта фраза осталась с ним. Тогда – как раздражающая, почти несправедливая. Позже – как предупреждение, которое он услышал слишком рано, чтобы понять.

Через несколько недель они впервые оказались у него дома.

Это произошло случайно и поэтому стало возможным. После смены начался ледяной дождь, такси не приезжали, метро встало на какой-то ветке, и Аня, промокшая до плеч, сказала:

– Если я сейчас поеду через весь город, меня можно будет сдавать в лабораторию как образец переохлаждения.

Илья жил ближе. Он предложил зайти обсохнуть так неловко, будто предлагал подписать рискованный акт. Аня посмотрела на него с интересом.

– Ковалев, ты сейчас зовешь меня домой или в санитарный шлюз?

– Домой.

– Тогда говори как человек.

Он сказал:

– Пойдем ко мне.

Квартира встретила их звоном поездов за окном и запахом пыли, которую Илья не замечал, пока рядом не появился другой человек. В прихожей стояли две пары одинаковых ботинок. На кухне – кружка, тарелка, контейнер с гречкой, пакет чая, сложенный так аккуратно, будто его тоже можно было поставить на учет.

Аня сняла мокрую куртку и огляделась.

– Тут живет одинокий прибор.

– Я не успел убрать.

– Я не про грязь. Грязь как раз человеческая. У тебя ее почти нет.

Он достал полотенце. Она взяла его, вытерла волосы, потом прошла к окну. Внизу по кольцу медленно проходил грузовой состав. Стекла задрожали.

– Ты из-за этого просыпаешься?

– Уже нет.

– А сначала?

– Сначала считал интервалы.

– Конечно.

Она сказала это без насмешки, почти мягко. Потом заметила на полке старый радиоприемник, разобранный напополам.

– Работает?

– Нет.

– Почему держишь?

– Собираюсь починить.

– Давно?

– Три года.

– Значит, это уже не прибор. Это обещание.

Илья поставил чайник. Ему хотелось возразить, но вместо этого он спросил:

– Тебе чай крепкий?

– Очень.

– С сахаром?

– Нет. Сахар – это попытка договориться с плохим чаем.

Она села на кухне, завернувшись в полотенце, и вдруг стала выглядеть не как коллега, не как человек из соседнего бло-

ка, не как источник фраз, которые нарушают устойчивость мышления, а просто как женщина в его кухне. Мокрые волосы темнели у висков, пальцы покраснели от холода, на левом рукаве свитера была маленькая затяжка.

Илья почему-то почувствовал, что уже видел когда-то похожий жест: как человек держит чашку двумя руками, не греясь, а будто проверяя ее форму. Похожий поворот головы. Похожую спокойную точность в том, как взгляд задерживается на предмете, прежде чем перейти дальше.

Воспоминание возникло на краю сознания и сразу ушло. Не лицо, не место, не событие – только соотношение черт, почти музыкальное. Как мотив, который слышал давно, но не можешь назвать.

– Что? – спросила Аня.

– Ничего.

– Ты так посмотрел, будто нашел ошибку.

– Нет. Просто показалось.

– Что?

Он помолчал.

– Что я что-то вспоминаю.

– Про меня?

– Не знаю.

Аня не стала уточнять. Только отпила чай и сказала:

– Иногда лучше не ловить сразу. Пусть само всплывет.

В ту ночь она осталась не потому, что они так решили, а потому что дождь не кончался, одежда сохла медленно, а

разговор неожиданно оказался длиннее вечера.

Они говорили о работе, о детстве, о тех странных вещах, которые люди обычно рассказывают либо слишком рано, либо уже никогда. Аня призналась, что в детстве разбирала будильники и радиоприемники, потому что ей казалось нечестным, что вещь работает, а ты не знаешь как. Илья рассказал, как однажды в институте трое суток не спал, пытаюсь восстановить сигнал с учебного спутника, хотя преподаватель уже сказал, что данные потеряны.

– Восстановил? – спросила она.

– Частично.

– И что там было?

– Ничего важного. Тестовый маяк.

– Но ты все равно сидел трое суток.

– Он передавал.

– А ты принимал.

Она сказала это так, будто в этом была не техническая, а почти нравственная связь.

Позже они лежали рядом на узком диване, потому что кровать Ильи предложить не решился, а Аня не стала помогать ему становиться смелее. Между ними оставалось немного пространства – достаточно, чтобы его можно было назвать приличием, и недостаточно, чтобы оно что-то защищало.

За окном шли поезда. Каждые несколько минут стекло едва заметно дрожало. Аня слушала.

– Похоже на низкую частоту.

– Угу.

– Ты правда все слышишь как параметры?

– Не все.

– А меня?

Он повернул голову.

– Тебя нет.

– Почему?

– Не получается.

Она улыбнулась в темноте.

– Хорошо.

Первый поцелуй случился утром.

Илья стоял у плиты и пытался сделать яичницу так, чтобы она не выглядела как результат технической аварии. Аня сидела на подоконнике в его сухой рубашке – синей, с вытертым воротником, слишком большой для нее – и критиковала процесс.

– Ты слишком серьезно относишься к яйцам.

– Их легко испортить.

– Почти все легко испортить. Это не причина смотреть так трагически.

Он обернулся, чтобы ответить, и увидел ее в этой рубашке, с чашкой в руках, на фоне серого утра и железнодорожного круга за окном. И снова это странное чувство узнавания прошло через него: не как память, а как совпадение с чем-то уже существующим внутри.

Аня заметила.

– Опять?

– Да.

– Что ты все время вспоминаешь?

Он подошел ближе.

– Не знаю. Но это не мешает.

– Чему?

Вместо ответа он поцеловал ее.

Получилось неуклюже. Он слишком долго думал о расстоянии, о ее реакции, о том, куда деть руки. Аня сначала замерла, потом тихо засмеялась прямо у его губ.

– Ты даже целуешься так, будто ждешь подтверждения команды.

– И?

– Подтверждаю.

После этого их отношения стали фактом, но не стали простыми.

Илья быстро понял, что Аню нельзя «встроить» в расписание. Она не сопротивлялась порядку, но не позволяла порядку заменять жизнь. Могла прийти к нему поздно вечером с пирожками и сказать: «Мы идем смотреть на реку», хотя у него был недописанный отчет. Могла обидеться не на резкое слово, а на его отсутствие. Могла три дня не говорить о важном, а потом внезапно спросить:

– Ты вообще замечаешь, когда я уйду внутрь себя?

Он тогда ответил:

– Я не всегда понимаю, что это значит.

– Это значит, что меня надо позвать.

– Как?

– По имени, Илья. Иногда люди откликаются на имя.

Он запомнил. Не сразу научился.

Аня тоже училась рядом с ним – терпению, хотя терпение не было ее сильной стороной. Она злилась, когда он превращал чувства в объяснения. Он замыкался, когда она требовала от него слов, которых у него не было. Они ссорились из-за ерунды: немойтой чашки, несказанного «спокойной ночи», его привычки отвечать на сообщения одним словом, ее привычки задавать вопрос и сразу понимать ответ раньше него.

Однажды она ушла среди вечера.

Не хлопнув дверью. Просто надела куртку.

– Ты куда? – спросил он.

– Домой.

– Почему?

– Потому что я сейчас начну говорить жестоко, а потом буду права по форме и неправа по сути.

– Останься.

– Скажи зачем.

Он молчал слишком долго.

Аня кивнула.

– Вот поэтому и ухожу.

Она вернулась утром. С пакетом хлеба, злым лицом и красными от холода руками.

– Я все еще злюсь, – сказала она с порога.

– Я понял.

– Нет, ты зафиксировал. Понять – другое.

– Я попробую.

– Ладно. Это уже ближе к человеку.

Они ели хлеб с маслом прямо на кухне. Потом она положила голову ему на плечо так внезапно, что он не сразу решился дышать.

– Я не хочу тебя переделывать, – сказала она.

– Похоже иногда.

– Я хочу, чтобы ты был здесь, когда ты здесь.

Это стало одной из ее главных претензий и одной из главных просьб. Илья присутствовал физически, но часто оставался внутри своих схем, коридоров риска, допустимых отклонений. Аня вытаскивала его оттуда не всегда бережно. Иногда – резко, почти грубо. Но все чаще он понимал, что возвращаться есть куда.

Весной они поехали в Рыбинск.

Аня выбрала поездку внезапно. Увидела фотографию замерзшего водохранилища в каком-то журнале и сказала:

– Хочу туда.

– Зачем?

– Посмотреть, как большое притворяется твердым.

– Это опасная формулировка.

– Поэтому ты и едешь.

Гостиница была плохая. В коридоре пахло сыростью, батарея в номере стучала так, будто внутри сидел маленький

злой слесарь, а окно не закрывалось до конца. Илья предложил поискать другое место. Аня сказала:

– Нет, это честная гостиница. Она сразу сообщает, что будет плохо.

Утром они пошли к воде. Лед тянулся до горизонта, серый, матовый, с темными полосами трещин. Ветер бил в лицо. Аня спрятала руки в рукава и долго молчала.

– Красиво? – спросил Илья.

– Страшно.

– Хочешь уйти?

– Нет.

Она стояла рядом с ним, маленькая на фоне огромного льда, и Илья вдруг подумал, что в ней есть качество, которое он не умеет назвать: способность смотреть на страшное, не делая его меньше. Не украшать, не объяснять, не отводить взгляд.

На обратном пути они купили пирожки с капустой у вокзала. Илья уронил свой в снег и почти серьезно сказал:

– Теоретически, если слой свежий...

Аня засмеялась так громко, что женщина у ларька обернулась.

– Снег стерильным не считается, Ковалев.

– Ты не дала закончить расчет.

– Некоторые расчеты надо останавливать до завершения.

Он тогда тоже засмеялся. Не потому, что фраза была особенно смешной. Потому что Аня смеялась, потому что ве-

тер бил в лицо, потому что пирожок дымился в снегу, потому что жизнь внезапно оказалась не задачей, которую нужно решить, а местом, где можно стоять.

В электричке она уснула у него на плече. Илья два часа не двигался. Рука затекла, шея заболела, за окном тянулись поля, станции, редкие огни. Он мог осторожно переложить ее голову, но не стал. Ему казалось, что это и есть обещание – не произнесенное, не оформленное, но настоящее: выдержать неудобство ради того, чтобы другой человек мог спать спокойно.

Позже Аня скажет, что он обещал увезти ее куда-нибудь надолго. Он будет спорить с собой: говорил или нет. Но, возможно, обещания иногда возникают именно так – из молчания, из неподвижной руки, из того, что ты не исправил положение, потому что кому-то рядом было хорошо.

Летом Аню впервые отправили на «Берег-7» ненадолго – на подготовительные работы. Она вернулась загорелая, раздраженная и полная историй о том, как местные техники называют антенну «бабушкой», потому что она «скрипит, но все слышит».

– Там пыль везде, – рассказывала она, сидя на полу у Ильи дома и разбирая сумку. – Пыль, пластик, старые шкафы, люди, которые делают вид, что оборудование само знает, как ему жить.

– Ты всех построила?

– Я была вежлива.

– То есть да.

Она бросила в него свернутыми носками.

Из сумки выпала его синяя рубашка.

Илья поднял ее.

– Это моя.

– Уже спорно.

– Когда ты взяла?

– В Рыбинске.

– Зачем?

– Она удобная.

– И все?

Аня посмотрела на него с вызовом.

– Нет. Еще она пахла тобой, а я иногда скучаю. Доволен?

Он не знал, что сказать. Она выхватила рубашку обратно.

– Вот поэтому я такие вещи и не говорю. У тебя лицо сразу становится как у человека, которому дали незарегистрированный прибор.

Он сел рядом.

– Я тоже скучаю.

– Когда?

– Когда тебя нет.

– Великолепно. Технически безупречно.

– Аня.

Она повернулась.

Он редко произносил ее имя отдельно. Обычно в разговоре имя было не нужно. Но после той ее фразы – «люди

откликаются на имя» – он иногда пробовал. И каждый раз видел, что это действует не на нее одну.

– Я правда скуочаю, – сказал он. – Просто не всегда успеваю понять это до того, как ты возвращаешься.

Она долго смотрела на него. Потом сказала:

– Ладно. Это почти красиво. Не испортить продолжением.

Он не испортил.

Осенью они стали жить почти вместе, хотя никто этого не объявлял. У Ани в его квартире появилась зубная щетка, потом свитер, потом книги, потом маленькая чашка с отколотой ручкой, которую она принесла откуда-то и отказалась выбрасывать.

– Она же битая, – сказал Илья.

– Она функциональна.

– Ты используешь мои слова против меня.

– Я давно готовилась.

Иногда Аня говорила по телефону с матерью. Илья не вслушивался, но голос из трубки однажды донесся до кухни – спокойный, низкий, с той же странной точностью пауз. Он замер, держа нож над хлебом.

– Да, мам, – сказала Аня в комнате. – Нет, он не зануда. То есть зануда, но полезная. Да, ест плохо. Я слежу.

Илья положил нож.

Опять возникло это неясное узнавание. Не воспоминание даже, а слабый внутренний отклик, как если бы где-то далеко замкнулся старый контакт. Женский голос в трубке, инто-

нация, короткое «хорошо», произнесенное без лишней мягкости. Ему показалось, что он уже слышал это раньше – в другой комнате, в другом возрасте, при другом свете.

Аня вышла на кухню.

– Что с тобой?

– Ничего.

– Ты побледнел.

– Просто устал.

Она прищурилась.

– Ты когда врешь, становишься очень аккуратным.

– Я не вру.

– Значит, не знаешь, что правда. Это хуже.

Он хотел спросить о матери: где она живет, кем работает, почему ее голос показался ему знакомым. Но вопрос выглядел бы странно. Слишком личным и одновременно слишком неясным. Он отложил его, как откладывал все, что не мог сразу сформулировать.

Потом темы сменились. Чайник закипел. За окном прошел поезд. Аня стала рассказывать про ошибку в документации пятого канала, которую ей прислали на проверку. Жизнь снова стала обычной.

Но где-то внутри Ильи осталось маленькое незакрытое окно.

Зимой все начало меняться быстрее.

«Весту» готовили к очередной модернизации, хотя все понимали, что система стареет и держится на слоях временных

решений. Аня все чаще задерживалась на работе, спорила с отделами, возвращалась поздно, сбрасывала ботинки в прихожей и говорила:

– Если еще один человек скажет «оно же работало раньше», я начну кусаться.

Илья отвечал:

– Не оставляй следов. По ним найдут.

Она смеялась, но усталость накапливалась. Иногда он видел, как она сидит ночью над схемами, подперев лоб ладонью. Красный карандаш, блокнот, холодный чай. Он предлагал помочь. Она иногда соглашалась, иногда отмахивалась.

– Ты слишком веришь центральным логам, – сказала однажды.

– Потому что они центральные.

– Прекрасная религия.

– А ты слишком веришь локальным наблюдениям.

– Потому что на месте обычно видно, где врут документы.

Они спорили о пятом канале, о фазовом резервировании, о том, можно ли оставлять старый контур без полного сброса. Илья считал риск допустимым при правильном мониторинге. Аня считала, что слово «допустимый» слишком часто используют люди, которые не будут стоять рядом, когда что-то загорится.

– Ты драматизируешь, – сказал он.

Она замолчала.

Это было хуже любого ответа.

– Аня.

– Нет.

– Я не хотел...

– Хотел. Просто не в том смысле, за который можно извиниться.

Она закрыла блокнот.

– Ты не понимаешь, что меня пугает. Не ошибка. Ошибаются все. Меня пугает, когда умные люди заранее готовят себе фразу, почему ошибка была допустимой.

Илья почувствовал раздражение.

– Ты говоришь так, будто я заранее хочу кого-то убить.

Аня посмотрела на него долго и устало.

– Нет. Ты говоришь так, будто заранее хочешь быть невиноватым.

Эта ссора длилась недолго. Они помирились вечером, неловко, без красивых слов. Аня подошла первой, обняла его со спины и сказала:

– Я тоже бываю несправедливой.

Он накрыл ее руки своими.

– Бываешь.

– Сейчас ты должен был возразить.

– Я учусь быть честным.

Она ткнулась лбом ему между лопаток.

– Ненавижу прогресс.

Но после той ссоры что-то осталось. Не трещина – скорее отметка на шкале, до которой потом можно будет дойти сно-

ва.

Когда Аню отправили на «Берег-7» уже официально, на две недели, они оба сделали вид, что это обычная командировка.

Она собирала сумку вечером. Клала вещи быстро, не проверяя список, потом вытаскивала обратно, ругалась, снова клала. Синюю рубашку Ильи бросила сверху.

– Она тебе зачем? – спросил он.

– Для устрашения местных.

– Рубашкой?

– Скажу, что если они не дадут мне полный доступ к блоку коррекции, приедешь ты и будешь объяснять им регламент.

– Жестоко.

– Я умею.

Он стоял у двери, чувствуя, что должен сказать что-то правильное. Не «пиши», не «позвони», не «смотри по нагрузке». Что-то человеческое. Аня застегнула сумку и посмотрела на него.

– Что?

– Ничего.

– Илья.

Он выдохнул.

– Я заберу тебя с вокзала в пятницу.

Она чуть удивилась. Потом улыбнулась.

– Смотри-ка. Почти человек.

– Без гарантий. Если смены...

Улыбка исчезла не сразу. Сначала стала меньше. Потом ушла совсем.

– Не продолжай, – сказала она.

Он понял, что уже испортил.

– Я просто хотел сказать, что если будет аварийный график...

– Да. Конечно. Система может потребовать.

– Это работа.

– Я знаю.

Она застегнула сумку до конца.

– Аня.

– Все нормально.

Это была одна из самых опасных ее фраз. Она означала не норму, а то, что человек устал объяснять, где именно больно.

Утром она уехала. На прощание поцеловала его быстро, почти буднично.

– Не забывай есть.

– Ты тоже.

– Я серьезно.

– Я тоже.

Она задержалась у двери.

– Илья.

– Да?

– Если что-то будет не сходиться, не жди, пока станет красиво по протоколу.

Он хотел улыбнуться, но она не улыбалась.

– Хорошо, – сказал он.

– Нет. Не «хорошо». Услышь.

Он кивнул.

– Услышал.

Она посмотрела так, будто проверяла, правда ли. Потом ушла.

Первые дни командировки проходили обычно. Аня писала коротко: «Тут пыль», «Пятый опять чудит», «Местный кофе – преступление», «Твоя рубашка официально лучше гостиничного отопления». Илья отвечал тоже коротко, но старался добавлять лишнее слово, чтобы она не говорила потом про служебные уведомления.

На четвертый день она прислала фотографию аппаратной: старые шкафы, кабели, лампа под потолком, ее рука в кадре с поднятым большим пальцем. Подпись: «Если это место выжило десять лет без меня, то еще неделю потерпит».

Он написал: «Не геройствуй».

Она ответила: «Не командуй из теплого Центра».

Потом: «Скучаю».

Он смотрел на это слово долго. Написал: «Я тоже».

Стер.

Написал: «Возвращайся».

Стер.

В итоге отправил: «Я тоже скучаю».

Ответ пришел не сразу: «Зафиксировано. Неожиданно пригодно к жизни».

В последний вечер перед аварией они говорили по телефону.

Связь была плохая. Голос Ани шел с задержкой, иногда пропадал. На заднем плане кто-то двигал металлический шкаф, ругался, хлопала дверь.

- Ты устала, – сказал Илья.
- Гениальная диагностика.
- Seriously.
- Я злая, грязная и хочу домой.
- В пятницу.
- Ты забереешь?

Он посмотрел на график смен на экране. Там была перестановка: ночное дежурство, спорный участок, «Веста-4» в наблюдении. Ничего критического. Но достаточно, чтобы не обещать уверенно.

Он мог сказать «да». Мог сказать: «Конечно». Мог закрыть график и решить потом.

Вместо этого сказал:

- Посмотрим по сменам.

На линии стало тихо.

Не совсем тихо – шум станции оставался, кто-то говорил далеко, трещала связь. Но Аня молчала.

- Ань?
- Да. Поняла.
- Я не сказал, что не приеду.
- Ты сказал именно то, что сказал.

Он устал. Она устала. Между ними стояли километры, графики, старые аппараты, недосказанное, его вечная осторожность и ее вечная просьба выбрать не потом, а сейчас.

– Давай не будем, – сказал он.

– Не будем.

– Я позвоню завтра.

– Если смены позволят.

Фраза была сказана почти спокойно. Это делало ее хуже.

– Аня.

– Спокойной ночи, Илья.

Связь оборвалась.

Он еще несколько секунд держал телефон у уха. Потом положил на стол и открыл рабочую почту. Там было новое письмо о регламенте тестов на «Береге-7». Он ответил на него сразу. На сообщение Ане – нет.

На следующий день все шло по расчету. Ровно и предсказуемо. Илья заступил на ночное дежурство в Центре орбитальной связи. За окном висел низкий снег. В сменной комнате на сорок втором этаже остывала гречка в контейнере. В аппаратной за стеной работали вентиляторы. На экране мерцала ретрансляционная дуга «Веста»: шесть старых аппаратов, выведенных еще в те годы, когда инженеры верили в долговечность металла больше, чем в долговечность людей.

Формально корректно

На третий день после аварии Илью перестали спрашивать,

спал ли он.

В первые сутки спрашивали часто. Дежурный врач, начальник смены, человек из службы безопасности, незнакомая женщина с красной папкой, кто-то из отдела кадров, который говорил тихо и все время смотрел мимо. Вопрос звучал по-разному, но смысл был один: способен ли он отвечать, подписывать, вспоминать, не развалиться прямо в кабинете.

Илья отвечал:

– Да.

Это было неправдой, но не ложью. Он не спал, но способность отвечать сохранялась. Тело выполняло команды. Рука держала ручку. Глаза читали строки. Голос произносил слова в правильном порядке. Система внутри него еще не поняла, что питание уже пропало.

На третий день стало ясно, что он не разваливается.

И тогда его начали использовать.

Комната для опросов находилась на шестом этаже, хотя раньше Илья никогда ее не замечал. Маленькая, без окон, с серым столом и двумя стульями. На стене висели часы, которые шли слишком громко. Каждый раз, когда стрелка сдвигалась, Илья думал о метке времени.

02:13.

02:15.

02:19.

Он не хотел думать о них. Они приходили сами, как си-

темные уведомления, которые нельзя отключить.

Первым с ним говорил представитель внутренней безопасности. Гладкий мужчина лет сорока, в хорошем костюме, с лицом человека, который давно научился выражать сочувствие, не включая его внутрь.

– Нам нужно восстановить последовательность ваших действий.

Илья кивнул.

– Да.

– С момента появления первого предупреждения.

– Хорошо.

– Вы видели изменение статуса?

– Да.

– Какой был уровень?

– Сначала желтый. Потом оранжевый.

– Красный?

– Нет.

– На момент вашего решения?

– Нет.

Мужчина что-то отметил.

– Вы действовали по инструкции?

Илья посмотрел на его ручку. Черная, дорогая, тяжелая. Такими не пишут быстро. Такими подписывают.

– Да.

– Уверены?

Вопрос должен был помочь или поймать. Илья не понял.

– Да.

– Вы понимали возможные последствия остановки теста?

– Да.

– Какие?

Он перечислил: каналы, резервные потоки, трассу, медицинский контур. Голос звучал ровно. От этого стало еще хуже. Он мог говорить обо всем так, будто авария была учебной.

– То есть у вас были основания не прерывать последовательность?

Илья молчал.

Мужчина поднял глаза.

– Инженер Ковалев?

– Были.

– Скажите полностью.

– У меня были основания не прерывать последовательность.

Мужчина записал. Часы щелкнули.

После него пришли технические специалисты. Их было трое, и с ними Илье оказалось труднее. Они не давили. Не делали пауз. Не смотрели сочувственно. Они спрашивали точно.

– Почему вы не перевели участок в ручной резерв?

– По расчету не требовалось.

– Почему не запросили подтверждение со станции голосом?

– Канал был загружен.

– Но возможность была?

– Была.

– Почему не использовали?

Илья открыл рот и не сказал ничего.

Один из инженеров, седой, с красными глазами, посмотрел на него дольше остальных.

– Почему? – повторил он.

Илья мог ответить: потому что решил, что она ошибается. Потому что не хотел признавать, что Аня видит с места больше, чем он из Центра. Потому что за сутки до этого они поссорились, и ее имя на экране не стало для него причиной нарушить порядок, а должно было стать. Потому что он выбрал не зло, а удобную уверенность, и это оказалось достаточно.

Он сказал:

– На тот момент параметры оставались в допустимом коридоре.

Седой инженер откинулся на спинку стула. Ничего не сказал. Только сделал пометку.

Илья понял: его ответ технически годится. Именно поэтому он отвратителен.

К вечеру его вызвали к Суровцеву.

Тогда Суровцев еще не был для Ильи фигурой из прошлого. Он был начальником отдела расследования аварийных ситуаций, человеком, который появлялся там, где дру-

гие начинали говорить тише. Высокий, сухой, с ранней сединой, в рубашке без галстука. Он не создавал впечатления жесткости. Скорее – усталой точности. Как инструмент, которым много пользовались, но не сломали.

Кабинет у него был временный, занятый на период комиссии. На столе лежали распечатки, схемы, журналы смен, служебные записки. В углу стоял картонный ящик с маркировкой «Берег-7». Илья увидел его и остановился у двери.

– Садитесь, – сказал Суровцев.

Илья сел.

Суровцев некоторое время читал лист перед собой. Не для вида. Он действительно читал, будто давал Илье возможность собраться, но не называл это милостью.

– Вы понимаете, в каком положении находитесь? – спросил он наконец.

– Нет.

Это был первый честный ответ за день.

Суровцев поднял глаза.

– Хорошо. Тогда объясню. Комиссия ищет причинную цепочку. Учреждение ищет управляемую версию событий. Внешние ведомства ищут ответственного. Родственники погибших будут искать человека. Иногда это один и тот же человек. Иногда нет.

Илья слушал.

– Вы были дежурным инженером на критическом участке, – продолжил Суровцев. – Вы приняли решение не оста-

навливать тест. После этого произошла авария. В такой конструкции вы удобны.

– Удобен?

– Да. Один инженер. Одно решение. Одна ошибка. Это понятная история. Ее легко положить в отчет и еще легче – в газету.

Илья посмотрел на стол.

– А какая история правильная?

Суровцев не ответил сразу.

– Правильная история обычно длиннее, чем готовы читать.

Он достал из папки копию протокола.

– Вот ваша команда. Вот состояние системы на момент команды. Вот регламент. По регламенту у вас было право продолжить наблюдение.

– Право.

– Именно.

– А не обязанность.

Суровцев чуть заметно кивнул, будто отметил, что Илья все же понимает разницу.

– Не обязанность.

В кабинете стало тихо. Где-то за стеной работал принтер: короткие рывки, пауза, снова рывок.

– Я мог остановить, – сказал Илья.

– Могли.

– Тогда почему вы говорите о регламенте?

– Потому что комиссия будет говорить о регламенте. И если вы не научитесь отличать юридический вопрос от человеческого, вас раздавят оба.

Илья впервые посмотрел на него прямо.

– А человеческий?

– С ним вам никто не поможет.

Эта фраза прозвучала не жестоко. Слишком спокойно для жестокости.

Суровцев взял другой лист.

– Сейчас вы пишете объяснительную. Коротко. Без самооценок. Без слов «вина», «должен был», «если бы». Только факты: статус системы, предупреждения, ваше решение, ссылка на пункт инструкции.

– Это будет неполная правда.

– Да.

– Тогда зачем?

– Потому что полная правда в первые дни после аварии почти всегда превращается в удобную ложь для кого-то другого.

Илья не понял.

Суровцев отложил лист.

– Вас хотят услышать не для того, чтобы понять. Вас хотят зафиксировать. Любое ваше «я виноват» станет концом расследования. После этого никто не будет копать глубже: ни модернизацию, ни бюджет, ни старые контуры, ни сроки, ни решения людей, которые годами оставляли систему работать

на честном слове. Вы станете пробкой. Ее вставят в дыру и скажут, что течь устранена.

– А если я действительно виноват?

– Тогда это выяснится. Но не вашим первым предложением на третьей сутки без сна.

Илья сжал руки.

– Она погибла.

Суровцев не отвел взгляд.

– Не только она.

Илья опустил голову.

Это было правильно. И невыносимо. Аня занимала в нем все пространство, но снаружи существовали другие погибшие, другие семьи, другие последние секунды. Он знал это. Просто не мог вместить.

– Пишите, – сказал Суровцев.

Он подвинул к нему чистый лист.

Илья взял ручку. Несколько секунд смотрел на белую поверхность. Потом написал:

«В ходе дежурства мной было зафиксировано отклонение параметров узла...»

Рука двигалась механически. Слова выбирались сухие, служебные. Они ложились на бумагу ровно, как снег на место пожара.

Когда он закончил, Суровцев прочитал.

– Последнюю фразу убрать.

Илья посмотрел.

Он написал: «Считаю, что при ином решении последствия могли быть предотвращены».

– Почему?

– Потому что это вывод, – сказал Суровцев. – А вы сейчас даете объяснение действий.

– Но я так считаю.

– Запишите это в личный дневник. Не в процессуальный документ.

– У меня нет дневника.

– Заведите. Или не заводите. Но здесь этого не будет.

Илья вычеркнул фразу.

Суровцев поставил лист в папку.

– Завтра вас будут спрашивать снова. Отвечайте только на вопрос. Не заполняйте паузы. Не пытайтесь быть честнее формулировки, если формулировка уже кривая.

– Это звучит как инструкция по выживанию.

– Так и есть.

– Почему вы мне помогаете?

Суровцев закрыл папку.

– Я не вам помогаю.

– А кому?

– Расследованию. Пока оно еще не стало ритуалом.

На следующий день Илья понял, что Суровцев начал двигать вокруг него стены. Это не выглядело как защита. Никто не подходил к Илье с утешением, не говорил «мы разберемся», не обещал, что все будет хорошо. Просто вопросы ста-

ли точнее. В протоколах появились ссылки не только на его действия, но и на состояние оборудования. Старые акты модернизации запросили из архива. Доступ к некоторым журналам ограничили не от него, а от тех, кто слишком торопился их читать.

Однажды в коридоре Илья услышал обрывок разговора. Дверь в переговорную была приоткрыта.

– Нам нужен ответственный участок, – говорил кто-то резким голосом. – Не философия сложных систем.

Голос Суровцева ответил:

– Ответственный участок – это не обязательно один человек.

– Обществу нужен понятный вывод.

– Обществу нужен рабочий спутниковый контур, который не убивает людей. Понятный вывод этого не обеспечит.

– Вы сейчас защищаете своего инженера?

Пауза.

– Я защищаю причинность от вашего пресс-релиза.

Илья ушел, не дослушав.

В тот вечер его снова вызвали. В кабинете Суровцева был еще один человек – юрист Центра, молодой, с гладкими руками и усталым лицом. На столе лежала новая справка.

– Это предварительное заключение по вашим действиям, – сказал юрист. – Вам нужно ознакомиться.

Илья взял лист.

Текст расплывался. Он несколько раз начинал читать сна-

чала. «В пределах полномочий...» «При наличии допустимого коридора...» «С учетом действующего регламента...» «Прямое нарушение инструкции не установлено...»

Он дошел до последнего абзаца и остановился.

«Действия инженера дежурной смены Ковалева И. М. формально соответствовали действующим инструкциям и не могут рассматриваться как единственная непосредственная причина развития аварийной ситуации.»

Формально соответствовали.

Илья прочитал еще раз.

Потом еще.

– Это неправильно, – сказал он.

Юрист поднял брови.

– В каком смысле?

– В смысле – это не все.

– Документ и не претендует на полноту моральной оценки.

Суровцев сидел молча.

Илья повернулся к нему.

– Вы это написали?

– Формулировку – я.

– Почему?

– Потому что она точная.

– Она удобная.

– Тоже.

Илья положил лист на стол.

– Я не хочу это подписывать.

Юрист вздохнул.

– Это не признание невиновности, а ознакомление с предварительной оценкой.

– Все равно.

Суровцев посмотрел на юриста.

– Оставьте нас.

Юрист хотел возразить, но передумал. Собрал бумаги, кроме той, что лежала перед Ильей, и вышел.

Когда дверь закрылась, Суровцев сказал:

– Вы сейчас хотите наказания, потому что оно кажется вам формой порядка.

Илья молчал.

– Это понятно. Но наказание, выбранное в первые дни, часто становится не правдой, а способом перестать думать. Вас осудят, вы примете, все выдохнут. Очень удобно. Особенно для тех, кто подписывал продление ресурса, утверждал сокращенный регламент, переносил замену оборудования и годами называл временное постоянным.

– Вы все время говорите о других.

– Потому что вы все время пытаетесь сузить аварию до себя.

– А вы расширяете, чтобы меня спасти.

Суровцев впервые разозлился. Не повысил голос, но лицо стало жестче.

– Я видел, как системы спасают себя, отдавая одного че-

ловека. Это выглядит справедливо ровно до тех пор, пока не понимаешь, что после этого система остается прежней.

– А человек?

– Человек иногда остается жить.

– Зачем?

Вопрос вышел раньше, чем Илья успел его остановить.

Суровцев долго смотрел на него.

– На это у меня нет служебного ответа.

Он достал из ящика еще один лист – чистый.

– Хотите написать вторую объяснительную? Пишите. Для себя. Без номера, без регистрации. Все, что считаете нужным.

Илья взял ручку.

Сначала ничего не получалось. Потом он написал одно предложение. Потом второе. Слова шли плохо, как будто каждое приходилось вытаскивать из-под завала.

Он писал не о схеме, не о регламенте, не о коридоре риска. Писал о руке на мыши. О том, как смотрел на подпись. О том, что не позвонил. О том, что успел подумать не «Аня», а «три гражданских канала». О том, что до сих пор не понимает, было ли это профессиональной дисциплиной или трусостью, потому что в момент решения они выглядели одинаково.

Суровцев не читал через плечо.

Когда Илья закончил, лист был почти целиком исписан. Он подвинул его Суровцеву.

Тот не взял.

– Это не мне.

– Тогда кому?

– Пока никому.

– Вы же сказали писать.

– Я сказал – для себя.

Илья посмотрел на лист. Бумага казалась опасной, как открытый провод.

– Что с ним делать?

– Решите сами.

Илья сложил лист пополам. Потом еще раз. Убрал во внутренний карман.

– А служебную справку? – спросил Суровцев.

Илья посмотрел на официальный документ.

«Формально соответствовали...»

Он ненавидел эту фразу уже тогда. Ненавидел за то, что она была не ложью. Ложь можно опровергнуть. Эта фраза была хуже: она оставляла место, где можно спрятаться.

Он подписал ознакомление.

Не потому, что поверил. Потому что устал. Потому что Суровцев говорил уверенно. Потому что вокруг было слишком много людей, которые хотели конца, а он не имел сил стать началом чего-то еще. Потому что иногда спасение приходит в форме, которую потом невозможно простить.

После подписи все ускорило.

Комиссия расширила техническую часть расследования.

В отчетах появились выражения, за которыми было удобно прятать лица: «каскадная расфазировка», «неполнота регламента», «ошибка расчета нагрузки», «изношенность инфраструктуры», «совокупность факторов». Илья читал черновики и чувствовал странное раздвоение. Каждая формулировка была технически обоснована. Все вместе они превращали Анину смерть в туман.

Его больше не держали в комнате без окон. Разрешили вернуться домой. Потом – на работу, но не к критическим операциям. Сначала на архивные задачи, затем на расчетные, потом на вторичные контуры. Коллеги разговаривали с ним осторожно. Одни слишком мягко. Другие слишком сухо. Несколько человек перестали здороваться.

Он предпочитал последних. Их молчание было честнее.

Однажды в столовой к нему подсел седой инженер из технической группы. Поставил поднос, долго солил суп, потом сказал:

– Вы не один это сделали.

Илья поднял глаза.

– Что?

– Не один, говорю. Там вся система была кривая.

Илья понял, что это должно было утешить.

– Но кнопку нажал я.

Седой инженер посмотрел на него устало.

– Кнопки всегда кто-то нажимает. Вопрос в том, кто сделал так, что плохих кнопок осталось больше, чем хороших.

– Это не отменяет.

– Нет. Не отменяет.

Они ели молча. Потом инженер встал.

– Не дайте им сделать из вас ни убийцу, ни жертву. И то и другое не соответствует действительности.

Илья запомнил, но не воспользовался.

Через месяц вышел внутренний отчет. Закрытый. Толстый. С приложениями, схемами, подписями. В открытой версии было меньше боли и больше канцелярии. Погибших перечислили по должностям. Причины описали сложными словами. Ответственность распределили так, что каждый получил часть, достаточно малую, чтобы продолжать работать.

Суровцев вызвал Илью после публикации закрытого заключения.

Кабинет уже почти освободили. На столе оставался ноутбук, стопка папок и кружка с недопитым чаем. Ящик с маркировкой «Берег-7» исчез.

– Расследование переходит в следующий контур, – сказал Суровцев. – Дальше будут ведомственные решения. Вас, скорее всего, оставят.

– Почему?

– Потому что прямого нарушения не установлено.

Илья усмехнулся. Звук вышел чужой.

– Формально.

– Да.

– Вы довольны?

Суровцев не обиделся.

– Нет.

– Но вы этого добивались.

– Я добивался, чтобы вас не назначили всей причиной.

– А если надо было?

– Не надо было.

Илья почувствовал, как внутри поднимается злость. Запоздалая, слабая, но настоящая.

– Вы говорите так, будто знаете.

– Я знаю достаточно.

– Нет. Вы знаете документы.

– А вы знаете боль. Боль тоже плохой эксперт.

Фраза ударила точно. Илья отвернулся.

На стене висела временная схема аварийной последовательности. Красные стрелки, серые блоки, временные отметки. Аниного имени на ней не было. Только «оператор станции». Это было правильно для схемы и невыносимо для мира.

– Что мне теперь делать? – спросил Илья.

Суровцев долго молчал.

– Жить.

– Это не ответ.

– Другого нет.

– Я не умею.

– Научитесь плохо. Потом, возможно, немного лучше.

Илья повернулся.

– Вы правда думаете, что спасли меня?

Суровцев устал. Это стало видно сразу: не по лицу, а по тому, как он снял очки и положил их на стол.

– Нет. Я думаю, что не дал вас быстро уничтожить. Это разные вещи.

– А если быстро было бы честнее?

– Честность не измеряется скоростью.

Он взял последнюю папку и протянул Илье.

– Здесь копии материалов, к которым у вас есть право доступа. Не все. Но достаточно, чтобы вы не зависели от чужих пересказов.

Илья не взял.

– Зачем?

– Потому что когда-нибудь вы захотите понять, что произошло, а не только снова наказать себя.

– Я уже понимаю.

– Нет. Вы помните момент. Это не одно и то же.

Папка осталась между ними.

Илья все-таки взял ее.

На выходе Суровцев сказал:

– Ковалев.

Илья остановился.

– То, что ваши действия признали формально корректными, не значит, что вы должны прожить остаток жизни внутри этой фразы.

Илья не ответил.

Он вышел в коридор, держа папку под мышкой. В Центре шел обычный день. Люди несли кофе, спорили у лифта, кто-то смеялся слишком громко. На стенде висело объявление о донорской акции. Из аппаратной доносился ровный гул вентиляции. Системы работали.

Илья спустился по лестнице, потому что не хотел стоять с кем-то в лифте. На каждом пролете свет включался с задержкой. Шаг, темнота, щелчок, белая лампа. Шаг, темнота, щелчок.

На улице было уже тепло. Снег, который висел в ночь аварии, давно стал грязной водой в ливневых решетках. Город продолжал двигаться так, будто ничего не обязан помнить.

Дома Илья положил папку на стол и не открыл.

Внутренний лист, тот самый несостоявшийся документ для себя, все еще лежал в кармане. Он достал его, развернул, перечитал первые строки и понял, что не может ни уничтожить, ни оставить на виду. В итоге убрал в ящик под разобранный радиоприемник.

Там он и пролежал годы.

Справка с формулировкой «формально соответствовали действующим инструкциям» появилась позже в личном деле, потом в закрытом архиве, потом в памяти Ильи – как строка, которую он знал наизусть и ненавидел все сильнее именно за ее точность.

Суровцев действительно спас его тогда.

От суда. От увольнения. От того, чтобы стать единствен-

ным именем в чужом отчете. От быстрого и понятного конца.

Но никто не спас Илью от жизни после этого.

Списанные аппараты

Через десять лет Центр назывался уже иначе, имел стеклянный холл, пропускные турникеты с мягким синим светом и отдел психологической поддержки на третьем этаже. Старую сменную комнату сделали переговорной, где стоял стол в форме капсулы и висела картина с изображением луны над морем. Илья не понимал, зачем на стенах технического здания нужны картины, но не спорил: он давно выбрал работу, в которой спорить приходилось только с железом.

Его должность звучала длинно: ведущий инженер группы вывода из эксплуатации низкоорбитальных коммуникационных комплексов. По сути он гасил старые спутники. Проверял остаток топлива, командовал тормозные импульсы, переводил аппараты в безопасные орбиты, подписывал акты, по которым объект переставал быть объектом связи и становился мусором с паспортом.

Сеть «Веста» оставалась последней большой работой. От нее давно не зависела жизнь городов, но в ее узлах еще держались резервные каналы, архивные протоколы, служебные петли и память о временах, когда Аня могла позвонить ему с любой станции и сказать: «У тебя снова голос человека, который забыл поесть».

Илья жил один в квартире у железнодорожного круга. По ночам, когда составы проходили без остановки, стекла едва заметно звенели. Он привык к этому звону и, если просыпался, всегда думал сначала не о поездах, а о частоте. Любой звук стал для него параметром.

В день, когда пришел первый фрагмент, он работал с архивом телеметрии «Весты-2». Аппарат должен был уйти в атмосферу через четыре месяца, и перед сжиганием требовалось снять все журналы. Старые системы не умели умирать аккуратно: они отдавали данные кусками, с повторами, с пустотами, с шумом, похожим на дыхание спящего человека.

В 17:46 терминал выдал пакет без актуальной метки. Илья занес его в ошибочные, потом заметил вторую метку, глубоко в теле сообщения. Дата была невозможная: ночь аварии. Не сама авария, а восемь минут до нее.

Он открыл аудиослой, хотя по регламенту должен был сначала изолировать пакет. Динамик щелкнул. Прошла полоса белого шума. Затем кто-то сказал: «Пятый канал не трогайте, он у вас держится на честном слове».

Илья снял наушники.

Голос был Анин. Не похожий – ее. С легкой хрипотцой после простуды, с привычным нажимом на слово «честном», с тем раздражением, которое появлялось у нее, когда взрослые люди обращались с техникой как с мебелью.

Он поставил фрагмент снова. И снова. На четвертый раз шум показался ему короче. На пятый – длиннее. Он выгру-

зил спектр, проверил контрольные суммы, поднял резервную копию. Пакет был настоящим. По крайней мере, настолько настоящим, насколько настоящими бывают данные, десять лет ходившие по мертвым участкам сети.

Илья оформил находку как «аномальный архивный отклик». Так было правильно. Так ничего не значило.

Вечером он ушел из Центра позже всех. У лифта его догнала Ника, младший инженер, недавно переведенная из отдела динамики.

– Вы опять не выключили у себя свет, – сказала она.

– Выключил.

– Тогда он сам решил пожить.

Она улыбалась осторожно, как люди улыбаются тем, кого считают слишком серьезным. Илья поблагодарил, вернулся в комнату, увидел темный кабинет и понял, что Ника просто хотела поговорить. Он не знал, что с этим делать. Через минуту он спустился вниз один.

Дома он не включил телевизор. Не разогрел ужин. Сел у окна, положил на стол распечатку спектра и смотрел на нее, пока линии не начали складываться в знакомый профиль: переносица, губы, узкая прядь у виска. Он перевернул лист. На обратной стороне было бело.

В два часа ночи он снова открыл удаленный доступ и прослушал фрагмент.

«Пятый канал не трогайте...»

Ему вдруг показалось, что после этих слов есть еще одно

дыхание, слишком тихое для динамика. Он увеличил усиление. Дыхание стало шумом. Шум – почти слогом.

Он записал в журнал: «Пакет требует повторной деконволюции».

И впервые за много лет не написал правду даже самому себе.

Сдвиг

Сначала это было не чувство и не мысль, а изменение плотности восприятия, почти физическое, как будто привычное пространство вокруг стало чуть менее жестким, уступчивым, допускающим небольшие отклонения, которые раньше немедленно отбрасывались как ошибка, и Илья поймал себя на том, что не стремится немедленно восстановить прежнюю форму, не спешит вернуть все к состоянию, в котором каждое явление имеет объяснение и границы, а, напротив, позволяет этому сдвигу существовать, рассматривает его как допустимый режим, как один из вариантов нормальности, который просто не был описан в инструкциях, но от этого не перестает быть возможным.

Он не пытался сразу разложить услышанное на составляющие, не спешил выделить в нем частоты, паузы, шумы и полезный сигнал, хотя это было бы самым естественным и привычным действием, вместо этого он позволил себе редкую роскошь – воспринимать явление целиком, без разрезания на элементы, как если бы перед ним было не техниче-

ское событие, а нечто более сложное, требующее не анализа, а присутствия, и это присутствие оказалось неожиданно спокойным, лишенным напряжения, которое обычно сопровождает любое отклонение от нормы.

Он отмечал детали, но не фиксировал их жестко, скорее позволял им проходить через внимание, как проходят мимо незначительные, но приятные элементы среды: изменение света, легкое смещение звука, едва заметная разница в ритме системы, и в этом потоке восприятия голос не выделялся как исключение, он был частью общей структуры, но такой частью, которая меняет всю структуру целиком, не нарушая ее, а расширяя, добавляя в нее измерение, о существовании которого раньше можно было только догадываться.

В этом не было ни удивления, ни сомнения в привычном смысле, потому что сомнение предполагает наличие четкой границы между возможным и невозможным, а эта граница в данный момент просто перестала быть актуальной, она не разрушилась и не исчезла, а отодвинулась, как отодвигается линия горизонта при движении, оставаясь формально на месте, но переставая ограничивать обзор, и Илья понял, что его задача сейчас не в том, чтобы вернуть эту границу обратно, а в том, чтобы зафиксировать новое положение, не теряя при этом способности ориентироваться.

Он продолжал работать, открывал окна, просматривал данные, фиксировал параметры, но все эти действия проис-

ходили как будто на втором плане, не теряя точности, но переставая быть единственным способом взаимодействия с реальностью, и в этом раздвоении не было дискомфорта, скорее наоборот, возникало ощущение редкой согласованности, когда рациональная часть не подавляет восприятие, а поддерживает его, создавая устойчивую основу, на которой можно позволить себе неочевидные допущения.

Мысль о том, что он слышит именно ее голос, не приходила как вывод, она присутствовала изначально, как фоновое знание, не требующее доказательства, и это было самым необычным, потому что в его опыте любое знание должно было быть подтверждено, выведено, проверено, а здесь не было ни этапа вывода, ни этапа проверки, и тем не менее это не вызывало внутреннего сопротивления, потому что не противоречило ничему из того, что он знал о системе, наоборот, встраивалось в нее как редкий, но допустимый сценарий.

Он начал замечать, что его внимание изменило характер, оно стало менее точечным и более распределенным, охватывало не только отдельные элементы, но и связи между ними, которые раньше оставались на периферии, и в этих связях появлялись новые конфигурации, не описанные в документации, но логически возможные, если допустить, что система сложнее, чем ее формальное описание, и что в этой сложности есть место для событий, которые не планировались, но могут возникать как следствие самой структуры.

Илья не формулировал это в виде теории, он просто на-

блюдал, как привычные схемы начинают работать иначе, не ломаясь, а изменяя режим, и это изменение не требовало немедленного вмешательства, не требовало исправления, наоборот, казалось, что любое резкое действие сейчас было бы преждевременным, потому что могло бы вернуть систему в прежнее состояние, лишив его возможности понять, что именно происходит на самом деле.

Он ощущал редкое состояние согласия с процессом, в котором находился, не потому что понимал его полностью, а потому что не требовал от себя этого понимания немедленно, позволяя знанию складываться постепенно, из наблюдений, из повторений, из тихих совпадений, которые в другой ситуации могли бы быть отброшены как незначительные, а здесь становились опорными точками, вокруг которых формировалась новая картина.

В этой картине не было резких переходов между прошлым и настоящим, между тем, что было зафиксировано, и тем, что происходило сейчас, все существовало одновременно, в разных слоях, которые не мешали друг другу, а дополняли, и голос, который он нашел, не был нарушением этой структуры, он был ее проявлением, одной из форм, в которых система показывала свою глубину, свою способность сохранять и возвращать, не по намерению, а по внутренней логике.

Илья поймал себя на том, что перестал задавать вопросы в привычной форме, вопросы, требующие немедленно-

го ответа, уступили место наблюдениям, которые не нуждались в завершении, и в этом было ощущение легкости, редкое для его работы, где любое незакрытое состояние воспринималось как проблема, требующая решения, а здесь незавершенность становилась частью процесса, не недостатком, а условием его существования.

Он не думал о последствиях, не потому что игнорировал их, а потому что понимал: последствия в данном случае будут следствием не одного решения, а всей совокупности состояний, в которых он находится, и поэтому важнее не выбрать правильное действие прямо сейчас, а сохранить точность восприятия, не исказить то, что происходит, поспешным выводом или преждевременной интерпретацией.

Система продолжала работать, показатели оставались в допустимых пределах, и это давало ему редкую возможность не вмешиваться, не корректировать, а наблюдать, и в этом наблюдении он впервые за долгое время ощущал не только профессиональный интерес, но и нечто более спокойное, почти нейтральное удовлетворение от самого факта, что мир допускает такие состояния, в которых границы не исчезают, а становятся проницаемыми, позволяя увидеть то, что обычно остается за пределами внимания.

Илья не формулировал для себя, что именно изменилось, он просто фиксировал это изменение как факт, не требующий немедленного осмысления, и в этой фиксации не было ни спешки, ни тревоги, только устойчивое ощущение, что он

находится в точке, где прежний опыт не отменяется, но дополняется, и это дополнение не разрушает структуру, а делает ее более полной.

Он знал, что позже ему придется вернуться к этому состоянию уже с инструментами анализа, разложить его на части, проверить, сопоставить, возможно, опровергнуть какие-то из текущих допущений, но сейчас это было не нужно, потому что ценность момента заключалась не в его объяснении, а в самом факте его существования, в возможности находиться внутри процесса, не сводя его сразу к набору параметров.

И в этом состоянии, лишенном напряжения и необходимости немедленного выбора, голос переставал быть исключением, он становился частью новой нормальности, которая еще не была оформлена, но уже существовала, и Илья позволил себе остаться в этой нормальности столько, сколько она будет длиться, не пытаясь ускорить ее завершение и не стремясь зафиксировать ее окончательно, понимая, что такие состояния не удерживаются усилием, а только наблюдаются, пока они возможны.

Голос, который не должен был сохраниться

Следующие дни Илья работал так, будто обнаружил не голос умершей женщины, а незначительную ошибку маршрутизации. Он приходил раньше охраны, пил черный чай из

автомата и строил таблицы задержек. Если смотреть со стороны, все выглядело почти скучно: инженер очищает старый канал от шумов. Но внутри этой скуки открывалась щель.

Сеть «Веста» была построена на ретрансляторах с фазовым резервированием. В нормальном режиме сигнал не мог задержаться больше чем на доли секунды. В ненормальном – при многократном переотражении, при сбитых ключах, при случайном совпадении частот – теоретически могли возникнуть петли. Пакет ходил по ним, терял края, обрастал шумом, но не исчезал сразу. Это знали все, кто работал со старыми системами. Никто только не верил, что петля может держать человеческий голос десять лет.

Илья написал модель. В модели голос Ани был невозможен. Он изменил допущения. Голос стал маловероятен. Он поднял забытые акты модернизации и нашел, что в двух аппаратах стояли блоки не той партии, что в документации. Голос стал возможен.

На четвертый день пришел второй фрагмент.

– Илья на смене? – спросила Аня из шума.

Запись была короче первой, всего три секунды. Но имя прозвучало ясно. Не «дежурный», не «Центр», а Илья. Он сидел неподвижно, пока автоматический анализ не закончил распознавание. Программа предложила: «Илья на стене?» Илья выключил распознавание.

Он не сообщил начальнику. Не потому, что хотел скрыть открытие. Он сказал себе: рано. Надо проверить. Надо ис-

ключить подделку, наложение, случайный фонетический фантом. Он говорил себе словами, которые можно было бы поставить в служебную записку.

Вечером он принес из архива коробку с личными материалами Ани, официально переданными в Центр после расследования: рабочие блокноты, пропуск, старый диктофон, три флешки. Коробка десять лет стояла в хранилище невостребованных технических документов. На крышке маркером было написано «Синицына А. Л. / Берег-7». Почерк был чужой, неровный.

Илья открыл блокнот на кухонном столе. Аня писала быстро, с углами, будто буквы торопились за мыслью. Между формулами встречались бытовые записи: «купить перчатки», «позвонить маме», «И. опять молчит – не трогать до еды». Он усмехнулся и сразу перестал.

На последней странице была схема пятого канала. Красным карандашом – пометка: «Не трогать без полного сброса. Иначе ударит по четвертому».

Илья помнил эту схему. Точнее, был уверен, что не помнил. В ночь аварии на экране не было красного карандаша. Были только цифры и запрос остановки. Но рука Ани теперь лежала перед ним как улика, которая опоздала на десять лет.

Он подключил диктофон. Батарея, конечно, умерла, но память сохранилась. На первой записи Аня смеялась: «Проверка. Если это слушает Илья, значит, он опять решил, что мертвые устройства интереснее живых людей». Потом хло-

пок двери, чей-то мужской голос на станции, шум.

Илья закрыл файл. Не потому, что стало больно. Боль была привычной, как старый ожог. Страшно стало от другого: диктофон дал ему чистые образцы ее голоса. Теперь любую аномалию можно было сравнить. Любую пустоту – заполнить вероятностью.

Ночью он составил ответный пакет. Это было почти бессмысленно. Если петля действительно существовала, сигнал мог уйти в старый маршрут и потеряться, мог вернуться через годы, мог не вернуться никогда. Он записал одну фразу, короткую, техническую:

– Аня, это Илья. Подтверди прием.

Он отправил ее в тестовый контур «Весты-2» и тут же пожалел. Фраза прозвучала сухо, как вызов на совещание. Он хотел сказать: я здесь. Я виноват. Я скучал. Я прожил десять лет, делая вид, что живу. Но отправил «подтверди прием».

Ответ пришел через тридцать шесть часов.

В пакете было два слова:

– Слышу тебя.

Илья понял, что больше не сможет сделать вид, будто занимается только оборудованием.

Коридор допустимого риска

Когда человек получает невозможное, он сначала проверяет кабели. Илья проверил все: маршруты, ключи, контрольные суммы, системные часы, доступы, архивные зеркала.

ла. Он поднял журналы ночных команд и сравнил их с текущей конфигурацией. Он даже попросил Нику, не объясняя причины, прогнать диагностику речевого декодера.

– У вас что-то с голосовыми пакетами? – спросила она.

– С шумами.

– Шумы обычно не требуют трех уровней допуска.

– Эти требуют.

Она посмотрела на него внимательно, но вопросов не задала. В Центре уважали чужое молчание, потому что у каждого была своя авария, свой провал, свой спутник, который не ответил.

Илья начал вести два журнала. Официальный назывался «Аномальные отклики сети Веста». Там были графики, метки, таблицы. Второй он держал в бумажной тетради без названия. Там были фразы.

«Слышу тебя».

«Где ты?»

«Почему линия такая грязная?»

«Ты опять говоришь, будто сдаешь экзамен».

Последняя фраза пришла на седьмой день. Илья смеялся над ней так тихо, что сам испугался. Аня говорила это раньше, когда он пытался объяснить ей свои чувства через причинно-следственные связи. «Ты меня любишь или защищаешь проект?» – спрашивала она. Он отвечал: «Это не взаимоисключающие вещи». Она качала головой: «Вот. Экзамен».

Теперь голос из мертвого канала знал эту интонацию. Или Илья знал. Разница была важна, но он каждый раз откладывал ее на потом.

Он не рассказывал о связи никому. С каждым днем причина менялась. Сначала – надо проверить. Потом – нельзя поднимать шум. Потом – никто не поймет. Затем появилась самая опасная причина: это их разговор, чужим там нечего делать.

В один из вечеров он получил пакет длиннее обычного. Аня спрашивала, какая сейчас погода. Он ответил честно: мокрый снег, ветер, на кольце ремонт путей. Через сутки пришло:

– У нас жара. В аппаратной пахнет пылью и пластиком. Я забыла тонкую куртку, хожу в твоей старой рубашке. Она до сих пор лежала у меня в сумке. Не спрашивай зачем.

Илья сидел перед терминалом, и ему казалось, что воздух вокруг стал плотнее. Он помнил эту рубашку: синяя, с вытертым воротником. Он искал ее после похорон и не нашел. Значит, она действительно была у Ани. Или он когда-то знал это и забыл. Или прочитал в описи вещей. Он открыл опись. Рубашки там не было.

В тот же день начальник отдела Суровцев вызвал его к себе.

– Вы задерживаете вывод второй дуги, – сказал Суровцев. Он был человек без возраста: седина появилась рано, усталость закрепилась навсегда. После аварии именно он вел

внутреннее расследование. Именно он сказал Илье: «Ваши действия формально корректны». Тогда эта фраза спасла Илью от суда, но не от жизни.

– Есть нестабильные архивные участки, – ответил Илья.

– Архивные участки не должны мешать утилизации железа.

– Если мы сожжем аппарат сейчас, потеряем данные.

– Какие данные?

Илья назвал частоты, номера пакетов, проценты восстановления. Все это было правдой и ничего не объясняло.

Суровцев слушал долго, потом сказал:

– Илья, вы не первый, кто ищет в старой сети то, чего там уже нет.

Илья почувствовал, как у него напряглись пальцы.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду, что «Веста» у многих связана с личным.

Но утилизация утверждена. Через месяц начинаем необратимые операции.

– Месяца мало.

– Десяти лет было достаточно.

Они посмотрели друг на друга, и впервые за долгое время Илья понял: Суровцев помнит не меньше его. Просто выбрал другую форму молчания.

Вечером пришел новый фрагмент.

– Ты тогда получил мой запрос? – спросила Аня.

Илья не ответил до утра.

Пропуски

Он мог ответить сразу.

Да.

Одно короткое слово. Технически точное, человечески непереносимое.

Да, получил.

Да, видел подпись.

Да, не позвонил.

Да, нажал «продолжить наблюдение».

Но Илья не ответил. Не в ту минуту, не через час, не ночью, когда в квартире стало так тихо, что холодильник начал казаться частью орбитальной сети. Он сидел перед экраном, на котором висела последняя восстановленная фраза, и делал то, что умел лучше всего: не подходил к смыслу, пока можно было проверять форму.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.